

каждому куплету особый характер, что, конечно, производило большой эффект. Надо, однако, прибавить, что старые или прежние сочинители романсов заботились не о блестящей их аранжировке, а напротив, о легкости аккомпанемента, дабы всякий поющий мог сам себе аккомпанировать, тогда как романсы наших знаменитых композиторов, Глинки и Даргомыжского очень трудно петь, аккомпанируя самому себе. Как М. И. Глинка, так и А. С. Даргомыжский начали свое музыкальное поприще первоначально сочиняя романсы, а потом сделались знаменитыми творцами опер и стяжали себе достойную славу и известность.

Но странно, что в десятых годах нынешнего столетия и ранее у нас существовала русская опера; с водворением же итальянской вкус публики изменился, она предалась влиянию последней музыки до того, что не умела оценить произведений дорогих своих соотечественников и была непростительно к ним холодна. Истые знатоки (к сожалению, их немного) оценили оперы Глинки и Даргомыжского, и оперы первого «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» давались довольно часто на русской сцене (предпочтительно первая). Оперы А. С. Даргомыжского были приняты холодно, публика наша не умела оценить творений своего родного, гениального композитора, но придет время, когда достойному воздадут достойное. Все, что наше русское, родное, мы того ценить не умеем и к стыду нашему кадим и преклоняемся всему чужеземному.

И. И. ПАНАЕВ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ, гл. III

...С Кукольников я не мог видаться часто. Он возил свою «Руку»¹ из дома в дом и читал ее. Толпы новых поклонников его возрастали с каждым новым чтением и заслоняли его от прежних. Надобно сказать правду, что эти поклонники набирались всюду без разбора и, соперничая друг перед другом в энтузиазме, вообще не отличались большим развитием.

«Рука» репетировалась между тем в театре. Наконец наступило давно желанное для энтузиастов Кукольника представление. Весь партер был набит ими. Я, разумеется, был в том же числе. В нашей преданности и энтузиазме к поэту мы не щадили ни рук, ни голоса: кричали, топали, хлопали и вызывали автора несчетное количество раз после представления. Успех был огромный. Но когда драма Кукольника появилась в печати, она встречена была, к нашему огорчению, не совсем благосклонно.

Всем известен отзыв об ней Полевого и последствие этого отзыва — «Телеграф»² был запрещен. По этому поводу кто-то написал довольно остроумное четверостишие:

Рука всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого уходила³.

Вскоре после этой чудотворной «Руки» начались чтения новых произведений: «Джулио Мости», «Джакобо Саназара», «Скопина-Шуйского», «Роксоланы» и так далее. Кукольник читал нам свои новые произведения одним из первых. Сенковский произвел его за «Торквато Тассо»

Такое непомерное повышение показалось неловким даже некоторым из самых благоразумных его поклонников. Мой энтузиазм к поэту, впрочем, не остывал. Каждое новое его произведение казалось мне шагом вперед. Имя Кукольника гремело в журналах и в обществе. Он становился авторитетом, близко сошелся с Брюлловым и Глинкою и уже довольно равнодушно смотрел на фалангу своих поклонников, которые делались ему бесполезными.

Каждое чтение нового произведения оканчивалось ужином и шампанским. На этих ужинах поэт делал объяснения своим произведениям, из которых мы, между прочим, узнали, что цаца и ляля в «Джулио Мости» — любимые слова его детства и что он решился внести их в драму как приятное для него воспоминание. Известно, что Кукольник почти всех своих героев заставлял красноречиво пророчествовать и любил сам пророчествовать о себе на дружеских сходках.

Таким образом, однажды, разговорясь о литературе и о значении Пушкина, он сказал:

— Пушкин, бесспорно, поэт с огромным талантом, гармония и звучность его стиха удивительны, но он легкомыслен и неглубок. Он не создал ничего значительного; а если мне бог продлит жизнь, то я создам что-нибудь прочное, серьезное и, может быть, дам другое направление литературе... (Передавая слышанное мною из уст поэта, я ручаюсь, конечно, только за верность мысли, а не за слова и обороты фраз).

К сожалению, в действительной жизни пророчества не всегда сбываются так легко, как в литературных произведениях.

Сближение и короткость Кукольника с Брюлловым и Глинкою, пользовавшимся уже громкою известностью после «Жизни за царя», еще более возвысило Кукольника в глазах его многочисленных поклонников. Они мечтали видеть в этой короткости разумный союз представителей живописи, музыки и поэзии и полагали, что такой союз может иметь влияние на эстетическое развитие нашего общества. Едва ли Кукольник не поддерживал и не распространял эту мысль. В сущности, союз этот не имел и тени чего-нибудь серьезного. Представители трех искусств сходились только для того, чтобы весело проводить время и, разумеется, толковать между прочим о святыне искусства и вообще о высоком и прекрасном. Союз этот поддерживался некоторое время тем, что представители приятно щекотали самолюбие друг друга. Около них, как всегда около авторитетов, образовался небольшой штат угодников, шутов, исполнителей особых поручений и блюдолизив из маленьких талантиков. В числе таковых выдвигались на первом плане бесталаный художник Яненко, грубый, наглый циник, который для того только, чтобы хорошо выпить и поесть, готов был пожертвовать всем в угоду кому-либо из своих патронов, даже женой и дочерью, и другой — также бесталаный художник М.⁴, с лстливой и рабской натурой, всегда притворно-робко входивший в ателье Брюллова, взглядывавший на новое произведение его кисти с лицемерным благоговением, восклицавший: «Недостоин, недостоин!» и выбегавший, закрывая глаза, как бы ослепленный им... К ним присоединилось несколько маленьких литературных талантиков, отчасти из тщеславной мысли прослыть друзьями гениальных, по их мнению, людей, отчасти из того, чтобы вместе с ними веселиться, пить и есть.

В это время Кукольник занимал вместе с своим братом Платоном, управлявшим делами Новосильцова, довольно большую квартиру в Фонарном переулке, в доме Плюшара. Он завел у себя среды. Плюшар, мотавший тогда деньги, получаемые им с «Энциклопедического лексикона», находился в близких отношениях к Кукольнику, Сенковско-

му, Булгарину и Гречу. Кукольник также сошелся очень близко с последними [...]

Хотя, я продолжал быть убежден в огромном таланте Кукольника, но меня уже смущали его связи с Булгариним, Плюшаром и им подобными личностями, которым я не мог сочувствовать; его искание популярности без всякого разбора, ухаживанье за людьми чиновными и значительными и еще притом прославление их между приятелями, пиры без конца, повторение тех же громких фраз и проч.— все это много способствовало моему разочарованию. Сомнение начало закрадываться в меня относительно призвания поэта; я уже иногда посматривал на него как на простого смертного и даже осмелился замечать иногда его комические стороны.

В таком положении я был к нему, когда он сделал мне честь, которой удостоивались немногие — удержал меня на ужин.

Мне, однако, это было еще очень приятно.

За ужином Кукольника в этот раз было человек пятнадцать: несколько офицеров Преображенского полка, М. И. Глинка, Яненко, Струговщиков, переводивший Гёте и издававший тогда «Художественную газету», и Каменский, интересный молодой человек, явившийся с Кавказа с повестями à la Марлинский и с солдатским георгием в петлице. Кавказский герой одержал две победы в Петербурге: одну над г. Краевским, издававшим «Литературные прибавления», который, пораженный его талантом, заплатил ему 500 рублей (ассигнациями) за его первую повесть; другую над дочерью Ф. П. Толстого⁵. Остальных присутствовавших за этим ужином я не помню. Ужин отличался не столько съестною, сколько питейною частию. В столовой на одной стене висел портрет Кукольника-поэта, на другой его брата Платона — оба работы Брюллова, в великолепных рамах⁶. Вино лилось. За шампанским Кукольник встал и, обращаясь в особенности к офицерам, подняв бокал и протягивая с ним руку к портрету брата, произнес торжественно:

— Преображенцы! за здоровье отсутствующего Платона!

Здоровье управляющего новосильцовским именем было выпито с восторженными криками.

Я сидел возле М. И. Глинки.

Глинка перед ужином был в дурном расположении духа. Он говорил мало и нехотя, гордо поднимал свою голову и, заложив руку за жилет, важно прохаживался в толпе, будируя всех своих знакомых. Такие минуты находили на него часто. За ужином он, однако, малопомалу расходился: говорил мне о своих музыкальных планах, о своем «Руслане», над которым он тогда трудился, о будущем России (это был один из любимых его разговоров) и о русском народе. Глинка полагал, что он хорошо знает народ и умеет говорить с ним. При такого рода разговорах он обыкновенно очень одушевлялся: глаза его сверкали, он щипал руку того, с кем говорил — и беспрестанно повторял «не правда ли?..» В этот раз он исщипал мою руку до синяков.

Глинка был человек страстный, увлекающийся, настоящий поэт, — и в такие минуты он возбуждал в себе большую симпатию и увлекал многих своими фантазиями и парадоксами, потому что в его увлечениях не было ничего поддельного... надобно было только сидеть от него подале. Но когда кто-нибудь затрогивал чуть-чуть его самолюбие или ему только казалось это, он становился нестерпимо горд, дулся, поднимался на ходули и принимал важные и пресмешные позы, вовсе не шедшие к его маленькой фигурке.

Степанов — нынешний редактор «Искры» — мастерски схватил ко-

жизнь их в очень злых, метких и остроумных карикатурах. Альбом этот принадлежит теперь графу Г. А. Кушелеву-Безбородко⁷.

О святыне искусства за ужином Кукольника в этот раз не было речи. Он сообщил только нам, что он трудится над эпохой Петра Великого, prepares ряд повестей из этой эпохи, и кстати рассказал нам из нее несколько анекдотов.

После ужина все смолкли, потому что Глинка, почувствовав вдохновение, сел к фортепьяно и начал импровизировать. Кукольник стоял у фортепьяно, восклицая по временам: «дивно!», и, обращаясь к офицерам, шептал, прикладывая указательный перст к губам: «слушайте, слушайте, преображенцы!»

В заключение Глинка пропел свой романс:

В крови горит огонь желанья —

страстным задыхающимся голосом, дико поводя глазами на слушателей.

Потом он повел рукою по лбу и волосам (это он часто делал в минуты волнения), встал со стула, из-за плеча бросил гордый взгляд на всех (кто из знавших Глинку не помнит этого взгляда?), прошелся по комнате, допил свой стакан, подошел ко мне улыбаясь, ущипнул меня и сказал:

— Если б наш Иван Акимыч воскрес и был здесь, что бы он сказал? — Михайло Иваныч заморгал и начал обдергиваться: — «Глинка... новый Орфей, продолжай услаждать слух гармонией... Жизнь коротка... мудрый, пользуйся жизнью... Добрый хозяин всегда имеет в запасе: бутылку на столе — две под столом... Разумей об этом тот, кому ведать надлежит...» — Глинка засмеялся. — Правда, ведь так? — заметил он.

Мы разошлись часов в 5 утра⁸.

П. А. СТЕПАНОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О М. И. ГЛИНКЕ

(По поводу дневника Н. В. Кукольника)

Меня трогает внезапно явившееся восторженное обожание Кукольником моего дорогого Глинки. Я также сильно любил его, но для Кукольника он был идолом, для меня братом и другом. Нельзя было не любить Глинку, к нему привязывался всякий входивший в знакомство с ним; детская натура, сохранившаяся в нем до зрелых лет, с попытками детских проказ, передразниваний, шуток — невольно привлекала к нему, как ребенку, теплое мягкое чувство. Иногда ребенок и закапризничает; но и это не возбуждало досады; ему не поперечили, но старались успокоить и чем-нибудь занять; иногда над ним подсмеивались, но он никогда не обижался¹ и сам смеялся над собою, даже не сердился на моего брата за его смешные карикатуры. Полагаю, что в мозгах его не было даже ячейки для злопамятства; не помню ни одного человека, которого он ненавидел бы, хотя и знал, что многие его не любят, но он отзывался об них снисходительно: он понимал, что они его враги из зависти.

Имя Глинки мне было знакомо в детстве: отец мой² ездил по делам в Петербург и, возвратясь в имение, рассказывал, что был на акте в университетском пансионе и пришел в восхищение от игры на фортепиано одного воспитанника, нашего родственника, Глинки. Лично я познакомился с ним уже в Петербурге, вскоре после его выпуска, в доме общих наших родных Кошелевых. После обеда он спел свой романс «Не искушай меня без нужды» и тут я понял восхищение моего отца.